

DOI 10.31250/2618-8600-2022-2(16)-94-117

УДК 930.2:316.7

Э.-Б. М. Гучинова

Калмыцкий научный центр РАН

Элиста, Российская Федерация

ORCID: 0000-0002-9901-0131

E-mail: bairjan@mail.ru

Г. А. Клименко

Петербургский государственный университет путей

сообщения Императора Александра I

Санкт-Петербург, Российская Федерация

ORCID: 0000-0001-6768-8418

E-mail: grenada61@mail.ru

«У меня была хорошая Сибирь». Устные истории о депортации калмыков «поколения 1,5»*

А Н Н О Т А Ц И Я . Публикация посвящена депортации калмыцкого народа в Сибирь (1943–1957 гг.) и памяти об этом периоде. Основу настоящей публикации составили два интервью, снабженные авторскими комментариями и вводной заметкой. Представленные здесь записи сделаны в процессе свободных интервью с людьми, которые в дошкольном возрасте были сосланы с родителями в Сибирь и прожили там по 13 лет. Цель данной публикации — показать возможности спонтанного рассказа о длительном травматическом событии, в котором «проговаривается» травма и ее проявления, иногда помимо интенций рассказчика, для анализа в конкретной исторической перспективе, в данном случае — с позиций «поколения 1,5» (Rumbaut). Кроме того, авторы выделяют указанную поколенческую когорту с особым опытом испытаний и лояльностями, для которой малой родиной стала сибирская деревня, где проходила социализация детей в условиях депривации калмыков. Спонтанные интервью проявляют язык травмы, которым калмыки говорят о депортации, а также гендерные различия нарратива и стратегий адаптации. Тексты проанализированы авторами настоящей статьи с помощью метода дискурсивного анализа. Используемые материалы представлены в виде транскрибированных текстов интервью, записанных авторами в 2004 г. с информантом К. С. и в 2018 г. с информантом Р. А. Дискурсивные стратегии этих двух нарративов свидетельствуют об их позитивном характере (по Дж. Александру). Тексты интервью и комментариев будут интересны всем исследователям депортации калмыков и памяти об этом периоде.

* Исследование проведено в рамках работы по государственной субсидии — проект «Юго-восточный пояс России: исследование политической и культурной истории социальных общностей и групп» (номер госрегистрации: 122022700134-6).

К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : калмыки, Сибирь, депортация, устная история, нарратив, гендер, травматическая память, «поколение 1,5»

Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Гучинова Э.-Б. М., Клименко Г. А. «У меня была хорошая Сибирь». Устные истории о депортации калмыков «поколения 1,5». *Этнография*. 2022. 2 (16): 94–117. doi 10.31250/2618-8600-2022-2(16)-94-117

E.-B. Guchinova

Kalmyk Scientific Center of the RAS,
Elista, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-9901-0131
E-mail: bairjan@mail.ru

G. Klimenko

Emperor Alexander I St. Petersburg
State Transport University
St. Petersburg, Russian Federation
ORCID: 0000-0001-6768-8418,
E-mail: grenada61@mail.ru

“I Had a Nice Siberia”: Oral Stories about the Kalmyks’ Deportation of the “Generation 1, 5”

ABSTRACT. The publication is devoted to the deportation of the Kalmyk people to Siberia (1943–1957) and the memory of this period. It consists of an introduction, two interviews, and comments to them. The interviews were informal, with persons exiled with their parents to Siberia at preschool age for 13 years. The purpose of this publication is to show the possibilities of a spontaneous story about a traumatic experience that spells out the trauma and its manifestations, sometimes beyond the narrator’s intentions; in this case — from the standpoint of “generation 1, 5” (Rumbaut). The paper focuses on the generational cohort for whom the Siberian village became a small homeland: this was a generation with a particular experience of trials and loyalties and the socialization of children under the conditions of deprivation of the Kalmyks. Spontaneous interviews reveal the language of trauma the Kalmyks used to talk about the deportation. The paper also explores the role of gender in narrative and adaptation strategies. Research methods included discourse analysis of the interviews. The author presented materials in the form of transcribed interviews received in 2004 from K.S. and in 2018 from R. A. The discursive strategies of these two narratives indicate their positive character (Alexander). The texts of the interviews and comments might interest scholars who study the deportations of the Kalmyks in the USSR and memories from this period.

KEY WORDS : deportation, the Kalmyks, repression, oral story, traumatic memory, narrative, “generation 1,5”, Siberia, gender

FOR CITATION : Guchinova E.-B., Klimenko G. “I Had a Nice Siberia”: Oral Stories about the Kalmyks’ Deportation of the “Generation 1, 5”. *Etnografia*. 2022. 2 (16): 94–117. (In Russ.). doi 10.31250/2618-8600-2022-2(16)-94-117

Памяти Д. О. Аишловой, первого физического антрополога Калмыкии

Калмыки были одним из тотально депортированных в военные годы народов. История депортации калмыков (1943–1957) освещена в литературе в той мере, в какой она обеспечена историческими источниками. Поэтому лучше изучены такие сюжеты, как подготовка и проведение депортации, поскольку они были хорошо задокументированы, а многие материалы, касающиеся этой темы, опубликованы. Все прочие аспекты, которые не менее важны для нас сегодня: как выживали люди в экстремальных социальных и климатических условиях, где проходила и как менялась граница этнической группы, как сочетались у одного индивида взгляды советского человека, разделяющего все идеологемы государства, и личные переживания, а также опыт людей, получивших наказание только за принадлежность к этнической группе, — оставались совершенно «невидимыми» для исследователей, пока люди сами не стали рассказывать о своей жизни.

Чтобы калмыки, более тридцати лет молчавшие о депортационных годах после возвращения в 1957–1958 гг. в восстановленную Калмыцкую автономию, заговорили о своем опыте, сначала должна была сложиться ситуация, благоприятная для личных воспоминаний. Такая социальная обстановка стала складываться в начале 1990-х годов после публикации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г.

Желание информантов поделиться воспоминаниями стало стимулом к использованию исследователями депортации калмыков методов устной истории. Первые воспоминания печатались во многих областных и районных газетах на протяжении длительного периода, пока большая часть желающих не высказалась о своем опыте в полной мере. В этих материалах, кроме географии расселения, почти забытых старых имен, содержалось много интересного о том, как реагировали старики на факт выселения, что было «кризисной»¹ едой и каковы были стратегии выживания сосланных. Но, как мы знаем, возможности биографического жанра определяются в первую очередь «состоянием публичной сферы: чем более ригидный характер она имеет, чем больше подвержена идеологическому регулированию, тем более однотипными и формализованными будут публикуемые рассказы о жизни» (Калугин 2015: 9). Поэтому газетные публикации «народных» воспоминаний редактировались и становились во многом похожими, задавая стандарт коллективной биографии народа. Однако с продолжающейся либерализацией в социальной сфере коллективная история калмыков становилась все разнообразнее.

¹ Под «кризисной» едой мы понимаем то, что люди употребляют в пищу в отсутствие обычных продуктов в экстремальных условиях.

В этом исследовании мы используем методы устной истории и биографического интервью. Их применение обусловлено расширением исследовательского поля при рассмотрении биографий, которые остаются важными и, может быть, единственными источниками в изучении повседневности интересующей нас эпохи и этнической группы. Эти истории представляют собой исключительно важный историко-антропологический материал, они также дают представление о гендерной специфике жизни калмыков в тот период, когда большая часть мужчин была на фронте или в Широклаге², а старшие женщины, не знавшие русского языка, теряли свои социальные компетенции и лидерские позиции в семье. Приведенные ниже нарративы относятся к локальной истории, ограниченной рамками этнической группы, продолжая в то же время оставаться и частицей истории нашей страны. Изучение повседневности калмыков в Сибири оказывается «формой работы с прошлым, которая помогает решать проблемы в настоящем: искать альтернативы “большой” национальной истории в исследовании истории локальной, вырабатывать язык для рассказа о трудном и ранее замалчиваемом прошлом» (Дубина 2021: 55).

Цель данной публикации — показать возможности спонтанного рассказа о травматическом опыте, такого рассказа, который проговаривает травму и ее проявления иногда помимо интенций рассказчика. Каждое интервью добавляет что-то новое к нашему пониманию истории и ставит новые вопросы о депортации калмыков, о которой через свой опыт рассказывают нам собеседницы.

Устные свидетельства о конкретном историческом факте становятся чрезвычайно ценны и позволяют узнать об этой истории из перспективы непосредственных участниц, тем самым сохраняя эту историю для потомков, спасая прошлое в его деталях. Взгляд на исторические события через частную жизнь, особенно переданный в форме устного рассказа, открывает новый масштаб — биографический рассказ представляет историю с большим количеством подробностей и нюансов, со множеством необычных сюжетов и с не всегда ожидаемыми развязками.

Приведенные здесь интервью рассказывают о детстве и взрослении девочек, которые были высланы со своими родителями в Омскую область и Красноярский край. Обе девочки — из семей партийных сотрудников. Отец Раи (Р. А.), сотрудник райкома ВКП(б), был призван на фронт, отец Клары (К. С.), работник республиканского уровня, имел бронь и в боевых действиях не участвовал.

В процессе интервью Р. А. говорила по-русски, но иногда переходила на калмыцкий язык. Это происходило тогда, когда речь шла о специфически калмыцких вещах, предметах, явлениях: праздниках или кухне. Иногда это происходило в моменты, когда речь заходила о деликатных сюжетах,

² Лагерь принудительного труда для отозванных с фронта калмыков (солдат и сержантов).

как, например, в рассказе о дезертирах. К. С., которая *ни слова, ни пол-слова по-калмыцки не знала*, четыре года училась языку в калмыцкой студии при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии у народного поэта Калмыкии К. Эрендженова, также рассказывала по-русски, используя калмыцкие фразеологические обороты.

Известно, что переезд в иную этнокультурную среду для детей в возрасте до 12 лет не связан с такими трудностями адаптации, как для более старших (поколение 1), но все же проходит труднее, чем у родившихся на новом месте детей (поколение 2). Эту возрастную когорту назвали «поколением 1,5» (Rumbaut 2004: 1162–1163). Вполне правомерно отнести к этому типу тех калмыцких детей, которые были депортированы в Сибирь вместе со своими родителями. Девочки, высланные в 6 лет и 4 года соответственно, безусловно относятся к «поколению 1,5». Подтверждение этому мы находим также в материалах интервью.

Интервью с Р. А. было записано на диктофон в 2018 г. в Санкт-Петербурге, интервью с К. С. — в Элисте в 2004 г.

НАРРАТИВ Р. А.

Родилась я 13 января 1937 г. в семье обыкновенного служащего. Отца звали Овши Джалович. Он был *ики дорвуд*³, родился в 1908 г. в Башанте. Про его родителей я ничего не знаю. У отца было три сестры: Эльза, Катя и Нелли. Он рос сиротой и стремился к чему-то лучшему, старался чего-то добиться. Сначала он был бухгалтером, потом стал работать каким-то начальником по финансовой части. Его всегда все уважали, он был партийным, а перед войной работал вторым секретарем райкома партии. Отец был высокий, внешне очень презентабельный, умел одеваться не как все калмыки. Очень следил за собой и всегда одевался так, как было положено служащему — в костюме при галстукe. Мама даже немного ревновала, ей не очень нравилось, что он так одевается.

Мама моя была оренбургская калмычка. Ее звали Аграфена Петровна. Мама была 1912 года [рождения]. Она прекрасно говорила по-русски, никакого калмыцкого акцента у нее не было. У нее был брат Николай Петрович 1914 года рождения. У Николая было второе имя Улюмджи, у мамы было калмыцкое имя Аганя.

Николай погиб во время войны. Он проявил большое геройство, у него было много наград, погиб в 1943 г., похоронен он в братской могиле г. Любань Ленинградской области, о нем даже Илья Эренбург писал.

Бабушка умерла после того, как сына забрали на войну в 1941 г. Помню, что она была старенькая и сгорбленная. Мама была грамотная, в свое время закончила в Башанте совпартшколу, где-то работала

³ Большие дербеты (рус.) — этнотерриториальная группа калмыков.

до войны. Мама — как сказать? — была немного диковатая, вообще не хотела замуж. Папа долго ее уговаривал выйти за него, а она все не соглашалась. Когда папа приходил в их дом, она пряталась и не выходила. Но он ее любил сильно и как-то смог уговорить выйти за него. Он правда ее любил, даже мы, дети, чувствовали, что связь у них тесная была. Хотя калмыки всегда сдержанные, мы чувствовали, что есть любовь между ними. До войны отец ее баловал и хорошо одевал, у нее была красивая шубка и красивые платья.

У мамы была сестра Мария, ее муж Василий тоже был оренбургский калмык. У всех оренбургских калмыков русские имена были. Тетя и дядя рано умерли, из троих [их] детей осталась одна Кая. Кая жила в семье дяди Коли, который был бездетным.

У родителей было трое детей. Старшая дочь — Данара, это калмыцкое имя, меня называли Раей, калмыцкого имени у меня не было. А младший братишка Валера был назван в честь Чкалова — тогда это было очень популярное имя, он родился как раз перед войной, 21 июня. Когда его принесли, мне не понравилось, что он мальчик. Я как-то решила, что он лишний человек. А отец его называл *дя авч ирсн ковун* («принесший войну мальчик»); здесь и далее в скобках перевод с калм. Э.-Б. Г.). Отец ходил на военные сборы, их где-то готовили. Отец писал: «Наверное, этот мальчик меня спасет, как грустно становится, мне снится, что он меня обнимает за шею».

У нас был свой дом с пристройкой, была корова, помню мы ее вечерами пригоняли. В детский сад мы не ходили. За нами присматривала старшая сестра отца. У нее были свои дети, и нас по утрам отводили к ней, а после работы забирали. Раньше связи в семьях были сильнее, чем сейчас. Сестры с братьями были очень близки. Во дворе собирались дети, и мы играли в *альчики*⁴, в прятки. А дома с сестрой играли в куклы. Я плохо помню ту жизнь. Когда мы жили в Башанте, я говорила по-калмыцки, а по-русски мы говорили плохо, все понимали, но свободно не говорили.

Война началась — мне было 4 года. Помню настроения тревоги вокруг. Когда немцы наступали, нас эвакуировали, кажется, в Астраханскую область. Папа же был партийным. На бричках везли почти все наше село. Помню, где-то из камышей вышли дезертиры, *хальмг ковуд* (калмыцкие парни). Это были молодые люди в обычной одежде и с автоматами, что уклонялись от службы в армии. Я боялась оружия, мне было страшно. С нами были одни женщины, они испугались за себя и за детей, все запасы продуктов им отдали. Эти мужчины никого не тронули, забрали еду и ушли. А женщины потом остановились у пруда, ловили

⁴ *Альчики* — игра в кости, распространенная у многих народов Центральной Азии.

рыбу, жарили и кормили нас. После эвакуации мы вернулись, наверное, летом 1943-го. Школы не работали.

Выселение я помню. Рано утром 28 декабря, еще темно было, мороз стоял крепкий. Помню, тусклые лампочки горели, и вооруженные люди дома. Мама сразу побежала за Каей, боялась, что нас разлучат с ней. Все-таки родная племянница, привела ее к нам. Мать в основном собирала тряпки. А молодые солдаты осмотрели — у нас была швейная машинка «Зингер» — и сказали: «С собой машинку заберите, там шить будете». И мать взяла. Хорошо или плохо — мы были одеты в Сибири. Ребята подсказывали, что взять. Сказали: «Теплую одежду берите, вы в Сибирь едете, одеял побольше».

Отца уже давно забрали на фронт, он воевал в пехоте, потом он рассказывал, как замерзал в окопах. Нас было: Валере — 2 года, мне — 6, Данаре — 8, Кае — 9. Загрузились в полуторки. Я радовалась, что едем кататься.

Нас отвезли в Астрахань, там поезда уже ждали, погрузили в товарный вагон. В нашем товарном вагоне ничего не было. Разместили где-то пять-шесть семей. В одном углу женщины разжигали костер, чтобы приготовить детям горячую еду. Где-то на полпути пожар в нашем вагоне случился. Помню, было холодно, вагоны неотопливаемые, все время мать нас одеялами укрывала. На остановках выдавали небольшими порциями хлеб, может, по 200 грамм на ребенка. Все время хотелось еды. В туалет мы ходили в горшок, который опорожняли из вагона. А как взрослые — я не могу сказать.

В Сибирь приехали... Столько снега мы никогда не видели. Нас привезли в село Ильинка Омской области. Нас сразу в семьи отдавали, и мы попали в какую-то русскую семью. Помню, они нас приняли нормально, не шарахались. Сами ели мерзлую картошку и нас ею угощали. А весной нас перевезли в село Красноярка, поселили к хозяевам, и детей оставляли одних, потому что родители ходили на лесоповал.

Как сейчас помню историю с лепешками. Данара постарше была и заметила, что хозяйки испекли лепешки — из чего думаете? Мороженую картошку перетерли, чуть-чуть муки, испекли лепешки и спрятали наверх. Они всегда прятали еду наверху. Данара заметила, кушать-то хочется. Она взяла стул, поставила на него табуретку, залезла и взяла две лепешки: одну мне кинула, другую себе, по одной. Вечером пришли хозяйки — двух лепешек не хватает, пожаловались. Конечно, они сами из последних сил тоже держались. Отец стал допрашивать, Данара молчит, а я, предательница, рассказала, как было. Отец взял ремень солдатский и два раза нам по попе... Как мы орали! И после этого — все, никогда чужое не брали. Да и раньше-то никогда. Позже, по-моему, родители съездили туда, в деревню, и отблагодарили тех хозяек.

Мы играли, особых трудностей я не помню. Правда, в детстве у меня была лихорадка, причем я переносила ужасно. Кая меня держала и не могла удержать. Ляжет на меня и лежит, пока не закончится [приступ]. Но я не воспринимала это как болезнь, мне было даже приятно, что меня жалели.

Валеру нам родители не доверяли, потому что он маленький был. Завернут его во все теплое и с собой берут. Мать кормила его долго грудью. Уже почти три года было, а он: «Мама, дай мему (грудь)». Это был выход. Был уже 1944 год.

Осенью Данара уже пошла в первый класс, а я — годом позже. Во втором классе Данара заболела, и ее перестали пускать в школу, она была вся в болячках. Наверное, это был фурункулез. Так что через год я догнала сестру, и мы стали учиться в одном классе. Учились вместе Данара, я, Маша Абуджиева. Данара была высокая, сидела за последней партой, а я сидела впереди. Всегда сажали нас с мальчишками. Помню, Юрка Головцов высокий был и худой. Он у меня все время списывал задания по русскому языку, помню, что были диктанты, а я закрываюсь от него. Хороший был мальчишка, добрый. Данара была способная в математике. На уроках русского языка учителя ей говорили: «Сестренка младше, а хорошо занимается!». Мне же так говорили на уроках математики.

Может, я так воспринимала, что к нам в школе относились нормально. Мальчишки дразнили: калмык, калмычка. Даже стишок какой-то был: «Сам не русский, жопа узкий». Я стеснялась, что калмычка. Во втором классе у нас была учительница Александра Макаровна, очень сильная учительница, строгая. Основные оценки у нас были «4» и «3». Учились мы с русскими одинаково, а потом стали даже лучше успевать. Нас даже ставили в пример: смотрите, нерусские, а диктанты пишут без ошибок. По немецкому я была лучше всех в классе. Немецкий язык нам преподавал чистый немец Роберт Карлович Маевский.

Одевались мы нормально, но, конечно, были проблемы, особенно зимой. Но все были одеты плохо. Нас принимали в октябрята, потом в пионеры. Но я была очень тихой, меня никуда не выдвигали. А вот Данару — да, она, кажется, и вожатой была. В комсомол я вступила в 9-м классе.

С нами еще жила отцова сестра, *гагашка*⁵, — она смотрела за Валерой иногда. Питались мы в основном картошкой. Как-то сразу нам дали участок весной, отец обработал и посадил картошку. Отец же нас догнал по дороге в Сибирь. Он был демобилизован по ранению и, пока добирался домой, узнал, что калмыков выселили, и стал искать повсюду нас. Вообще люди тогда были проще, отзывчивее. Вернулся отец к нам раненый. Мать долго смазывала раны чем-то.

⁵ От *гага* (калм.) — сестра отца.

Мама курила время от времени, иногда. Может, это ей давало возможность расслабиться после работы, когда было время. Сядет у печки и курит. Курила что придется — у отца брала папиросы или скручивала их сама. Отец не обращал на это внимания.

Отец ругастый был. Когда переехали в Красноярку, он пристроил к землянке сенцы: без окон, просто из жердей, а между ними были большие щели. Так отец для тепла и света между ними вставил стекла. Люди местные проходили и смеялись, а потом привыкли. Если б не отец — трудно было бы.

Калмыцкие праздники как-то отмечали тайно. Не так весело, не так открыто, как 7 Ноября. Я не помню, чтобы это преследовалось, но все равно. Приходили в гости калмыки, пели песни, например: «*Дуран огси, чамдан*» («Тебе, полюбившей меня»). А нам потом мальчишки говорили: «Спойте “Чемодан”».

Данара была симпатичная, к ней всегда привязывали кого-то в школе. А ко мне привязывали какого-то неказистого мальчика, такого конопатого. Как себя вести нам родители не говорили, мы сами смотрели на старших и усваивали. В те годы учителя для нас были как святые. Мы их боготворили, и я долго считала, что они не ходят в туалет. Когда в первый раз увидела, как наша учительница зашла в туалет, я была так разочарована.

Мы участвовали в самодеятельности, я пела в хоре, ни на что больше не была способна. А Данара танцевала русские танцы: татьяночку, еще что-то. Калмыцких номеров в самодеятельности не было.

Когда кончилась война, я помню, мы играли на улице. И вдруг репродуктор заговорил, и сказали, что закончилась война. Все кричали «ура». Было такое ликование вокруг!

Потихоньку жизнь стала улучшаться. Помню, мы все время стояли в очередях за хлебом. Стоишь, иногда нас отшвырнут, и ты снова стоишь. Но ничего. Чего у нас было вдоволь — это картошки. У нас был участок при доме — 10 соток, в поле — 15 соток, и как большой семье дали еще один участок. Мы везде растили картошку. Собирали до ста мешков.

А муку, зерно нам давали по карточкам. Из зерна мы варили кашу. Лук и чеснок всегда у нас были, морковь, горох сажали уже ради баловства. Помидоры не растили, потому что за лето они не успевали покраснеть. Купили корову, потом козу. Корову звали Белянка, это была боевая корова, у нее один рог был сломан, она всегда шла впереди других. У нас уже появились чай с молоком и маслом, сметана и простокваша. Еще варили будан, такой суп — картошечку, лучок, немного муки. Будан нас выручал. Мать хорошо готовила, частенько лапшу варила. У нас появилось мясо, потому что наша корова телилась каждый год. Мы одного теленка выращивали. Ну как — забьем его, мясо заморозим, и на всю зиму хватало.

Тогда зимы были холоднее, средняя температура была –30, часто –40. Каждый год мы обмороживались, кожа текла. Потом новая кожа появлялась. Как-то мы не воспринимали это как бедствие. Как наша мать ходила в тоненькой фуфаячке, которая была вся в заплатках? Одевались еле-еле, лишь бы прикрыться от морозов. Все ходили в одном и том же, да и не помню взрослых, чтобы наряжались и куда-то уходили. Отец каждый вечер садился и зашивал всем дырки на валенках. Внутри для тепла закладывали всякое.

В доме родители говорили по-калмыцки, а мы, дети, уже по-русски. В нашем селе калмыки жили на ул. Советской, а местные переименовали ее и называли Калмыцкой. Нас все называли «переселенцы», и примерно в 7–8-м классах мы понимали, что мы — не та раса, которую надо уважать, что мы ниже.

Как бы то ни было, калмыки друг другу помогали. Поставили мы землянку — половина дома в земле, половина сверху. Окна были на земле. Дядя Пуг, здоровый мужчина, контуженный был, помог нам с землянкой. У них был хороший дом, они жили через дорогу. Он женился на тете Хавре, доброй хорошей женщине. Они дружно жили, всегда друг другу помогали. Кая постарше была, землянку наловчилась мазать, мазали коровьим пометом и глиной.

В обед пригоняли наш скот домой, чтобы мы могли подоить. Пока пастух снова соберет скот, мы выгоняли на край села. В то время волки заходили прямо в село. Я как-то корову и теленка пасла, вдруг они сорвались и побежали домой, видимо, запах волка услышали. А я вижу: огромная собака прибежала и смотрит на меня. Глаза горят. Я испугалась и закричала. А на краю села стоял мужчина, который, видимо, ждал попутную машину в Омск. Тогда многие ходили с палками. Он услышал мой крик, схватил палку и побежал меня спасать. А волк развернулся корпусом и убежал в лес. Прихожу домой, у меня спрашивают: «В чем дело?». Я рассказываю про большую собаку, а отец говорит: «*Чон баяж*» («Так это волк был»).

У мамы детей больше не было. Как-то мама ушла рано утром, пришла вечером больная и лежала. Несколько дней дома лежала. Может быть, это был аборт, причем не в больнице. Уже позже я это поняла.

Отца после работы на лесозаготовке забрали служащим, он грамотный был. Потом он стал работать в должности бухгалтера, его все уважали. Помню, в час дня у него был перерыв, мы смотрели в сторону его конторы, где он работал, и он, как часы, появлялся. Так ждали его каждый день.

Когда Сталин умер, было для всех огромное горе. Никогда о нем никто плохого слова не говорил. Я даже думала, что он скорее божество. Только когда он умер, мы поняли, что это был простой смертный человек.

Все переживали — и калмыки, хотя он нас выслал, и все взрослые тоже. Так его боготворили. Плохого о нем никак не могли допустить.

Мама и отец, хоть и партийный, понемногу молились дома. *Деежи*⁶ ставили, лампадку. Для нас это было что-то святое. Я как-то не могла понять, почему у калмыков не рождались дети. И только в 55-м году в Красноярке появился первый ребенок, у наших соседей — у Раи Гиндиновой появился сын Василий. И я поняла, что калмыки тоже могут иметь детей. Я была в 10-м классе.

У нас жили латыши — Нора Цырулис, такая высокая симпатичная девчонка. Латыши тоже были репрессированными. Те — высланные, мы — высланные, дружили. Латыши были цивилизованные. Они были яркие блондинки и казались нам такими красивыми. Они и были красивыми. У Каи была подружка по фамилии Китель, кажется. Когда приехали в Сибирь, Кая перескочила с первого класса в третий. Соответственно училась она плохо. С этой подружкой — она была маленького роста — так и выкарабкалась, выстояла и пошла учиться дальше на хорошие отметки.

Помню, как нас выделяли среди русских. Меня по русскому и литературе, Данару — по математике. Маша Абуджиева из нашего класса тоже была способная. Еще помню Борьку Чурюмова, симпатичный был. Калмыки-то вообще хорошо учились, помогали друг другу, выживали. Сначала нас называли «калмыки», а потом перестали благодаря знаниям и способностям, которые были получше, чем у многих русских.

Ярким среди калмыков был Сусуков Наран, он так красиво танцевал хальмгар (по-калмыцки). И находились те, кто умел играть на домбре, были, и сами струны делали. Калмыки праздники отмечали — и *Цаган*, и *Зул*⁷. Такое народное творчество не изжить. Как бы ни запрещали — все равно.

В 16 лет все дети начинали ходить в комендатуру. Я не ходила, а старшие мои сестры — Кая и Данара — ходили. А я не успела. Всегда им стыдно было ходить. Я помню, группами соберутся и идут. Имени коменданта я не помню, но на лицо до сих пор помню. Он к нам заходил, строго следил за нами.

Платье на выпускной мы заказывали у портнихи, сразу два, мне и Данаре. Заказали из белого штапеля, тогда почти у всех были платя из штапеля. Сшили шестиклинки.

А мы всегда мечтали вернуться, наш дом не выходил из головы. Мама моя говорила: «Давайте *ульдхи* (останемся), потому что такая благодатная земля в Сибири». Когда было освобождение, в первую очередь коммунистов освободили. В Калмыкию было возвращаться сразу нехорошо. Там не было работы и было голодно. Отец поехал в теплые края,

⁶ *Деежи* — подношение божествам первой порции в трапезе (чай, борциги).

⁷ *Зул* и *Цаган-сар* — калмыцкие календарные праздники. Все даты плавающие.

в Киргизию, в город Ош. Там жили люди, похожие на нас. Он устроился на работу в сберегательную кассу и летом приехал за нами. Мы как раз окончили школу. Я поступила в Ошский педагогический институт на иностранные языки. Принимали 12 человек, конкурс был огромный, чуть ли не 80 человек на одно место. На вступительных экзаменах у меня были две «четверки» и две «пятерки». Сибирские знания в сравнении с ошскими были сильнее. Данара поступила не сразу, но на второй год поступила на биофак. Когда калмыков вернули [на родину], я стала писать письма во все ближайшие вузы. Перевелась в Пятигорский инъяз, и в первый год было трудно. У меня и тройки были, но мне, как калмычке, все равно давали стипендию. За год я уже догнала однокурсниц и училась хорошо.

Данара не стала переводиться, закончила Ошский пединститут. Валера приехал в Элисту школьником и в классе был первым красавцем.

Из Сибири мы вернулись уже в Элисту, отец на Песках⁸ получил квартиру. Это был дом на три семьи. В Элисте оказалось пусто: все как в деревне. Один красный дом был многоэтажный, одни пески, местность голая. Мы были очень недовольны. Поэтому Пятигорск мне показался оазисом.

Хоть и снежками в нас бросали, кого-то людоедами обзывали, все равно эти годы были хорошие. Как-то мило для души все это было. Когда мы уезжали, русские плакали, что останутся без калмыков, так сжились мы.

Жизнь продолжается, полная событий. Сейчас я живу в центре Санкт-Петербурга с дочерью и зятем. У меня двое прекрасных внуков и четверо веселых правнуков, они часто навещают нас и наполняют нашу квартиру радостью и веселым смехом.

НАРРАТИВ К. С.

Я родилась в 1939 г. в селе Башанта, бывшем центре Западного улуса. Сразу после моего рождения папу перевели в Элисту с должности первого секретаря Западного райкома ВКП(б) на должность второго секретаря Калмыцкого обкома — по сельскому хозяйству. Мама моя — учительница, но в то время не работала, так как дети были малые.

Папу привели в 4 утра. Двое сопровождали. Мы все спали. Папа сидел как парализованный. Мама нас будила, говорила, что к бабушке везут. Пока одного поднимут, второй уснет. Только старшая сестра Лиза, ей было 12 лет, помогала маме собирать мешки. Те, кто пришел за нами, военные или энкавэдэшники, не злобствовались, сказали: «Собирайтесь, у вас много маленьких детей». Люди сельские резали коров, овец. А у нас

⁸ Пески — неформальное название одного из районов Элисты.

ничего такого не было. Трагедия в том, что отец до последнего не верил, что это произойдет. Мама с базара принесет какие-то слухи, а отец говорил: «Параня, не верь, если это произойдет, то коснется семей предателей». У мамы в мастерской костюмы остались заказанные, она не забрала их.

Наша большая семья попала в Красноярский край, Назаровский район, село Назарово, где и прошло мое детство.

Все план сдавали по молоку. Я помню, мы носили молоко в высокой стеклянной посуде. Моя обязанность дома была носить молоко по плану. У меня была такая дурная привычка — все за сани прицепиться и прокатиться немножко. Я летела с этой трехлитровой бутылкой, разбила бутылку — и молоко пролилось. Как я плакала! И они мне в книжке отметили, что я сдала молоко. Женщины меня пожалели. Все-таки сибиряки — жалостливый народ.

Смерть Сталина помню. Большие черные репродукторы все работали на улице. Как только вышли эти стихи, я их сразу выучила.

Мартовский ветер холодный, флаги у каждого ворот,
Горе волною огромной весь захлестнуло народ.
Сталин наш мудрый скончался.

Дома мы говорили по-русски, но мама с папой между собой говорили по-калмыцки. До театрального института я по-калмыцки ни слова, ни полслова не знала. Родители никогда при детях не ссорились, голос друг на друга никогда не повышали.

Стиркой занималась только мама, она на всех стирала. У нас не было принято так, чтобы со второго класса детей заставляли стирать. Все шло сознательно, вначале старшие что-то делали, потом младшие привыкали. Картошку сажать мы все высыпали как *шора шоргльжн* (муравьи). Полоть картошку — это было только наше дело. Мы пололи до потери пульса. С сестрой Майей мы ряды делили, и кто вперед. Она шустрая такая и на два года меня старше, уйдет вперед, а я начинала плакать — почему ты впереди? Мы все маленькие, юркие. Ведра носим, бегаем, хорошо получалось. Мы до ста мешков собирали картошки. Рацион состоял в основном из картошки, молока. Муку нам выписывали по праздникам. Мама лепешки пекла. Еду готовила всегда мама. Старшие дети должны были уголь занести, печку растопить — это тоже целое дело. А мы — полы уже мыть, скотине сено подать, хлев очистить. А все остальное — больше мама.

Отец начал работать на разных работах, возил крепи (что-то для шахты), потом он стал замдиректора совхоза. Почему-то местные жители с ним считались, обращались по разным вопросам, за советом приходили.

Мама, Прасковья Бадмаевна, красавица 32 лет, занималась семьей, шила сибирякам все, начиная с трусов и до брезентовых плащей и рукавиц. Мама была исключительной женщиной, и местные сибиряки приходили вечерами взглянуть на нее в окно, которое располагалось низко, и все в квартире просматривалось. Потом сибиряки так припеклись к нашей семье, что мои родители стали желанными гостями их незатейливых вечеринок. Там мама, забыв трудности, пела, танцевала и вмиг еще больше хорошела.

Жили, конечно, как все, туго. Мама пыталась в первую очередь накормить нас и ждала, достанется ли ей что-либо. Я была еще дурочкой и спрашивала: «Почему ты, мама, не кушаешь?». На что она отвечала: «Я уже сыта». Мы никогда не слышали, чтобы она вспоминала что-то из прошлой жизни. Наверное, принимала жизнь такой, какой она была.

Калмыкам выдавали ссуды на обзаведение хозяйством, сахар выдавали на каждого человека большими кусками голубого цвета. Мама купила корову и отдала за нее два мешка одежды. Она была достаточно хорошо одета, все отдала на корову. Мама сама покупала корову. Когда она привела корову, папа вышел посмотреть, сказал: «Что за телку ты купила?». Потом она хорошо нас молоком обеспечила.

Такую мастерицу на все руки, многодетную мать стали выбирать в родительский комитет школы. Она все делала, но оставалась второй скрипкой при папе. Она научилась запрягать лошадь, косить сено, плести огород, выращивать гусей, кур и даже разводить пчел. Потом мама гусей завела, пчел мама научилась держать. Это же Сибирь, там что-нибудь брось — уже к вечеру вырастет. Только надо трудиться. У нас даже огурцы созревали. Мама вот такую высокую грядку делала из навоза и большие такие лунки, куда засыпала землю, и мы садили туда огурцы. Помню, и помидоры выращивали. Если они не успевали созревать, их в валенки закладывали, потом они краснели. Все премудрости я знала, потому что у мамы была на подхвате. Попозже мы поросенка держали, индюков. Она не сидела на завалинке с женщинами, ей было всегда некогда. По вечерам собирались большой семьей и каждый занимался своим делом. Дети учили уроки, папа подшивал кому-нибудь прохудившийся валенок, мама всегда что-то шила.

Я была девочка веселенькая и быстро сошлась с сибирской пацанвой. Я с ними дралась поначалу, кой-кому пацанам и попадало. Родители не вмешивались в наши знакомства... Иногда в сложных ситуациях нас защищала старшая сестра Лиза, ей было тогда 12 лет. Мне нравилось, что там было много снега, и мы катались на самодельных тарелках, которые лепились из коровьего навоза и обливались на ночь водой. Она замерзала, и это были отличные санки.

В нашем селе жили и немцы, и эстонцы. Мы понимали, что они другие, отличаются от местных, они к нам тянулись. Эстонка была Хельга,

у нее были циркули школьные, а у нас отродясь их не было, для нас это было в диковинку...

Учителя такие были интеллигентные, их, наверно, в глубинку специально направляли. У нас учитель был один — Ломоносов Василий Иванович. Задаст какую-нибудь сложную задачу, знает, что в классе никто не решит. Проходит по рядам, смотрит, кто решил. Я сижу молчу, потому что за меня Майя решила. Говорит: «Ты решила, Кларочка у нас умница». У нас тетрадей даже не было, бумаги не было. Папина сестра Женя, которая с нами жила, откуда-то доставала серую бумагу типа посылочной, мы шили тетради и такие счастливые были, что у нас есть тетради. Тогда и чернилами пользовались, и чернильницей-непроливашкой.

На нас мальчишки внимание обращали — за косички дергали. В старшую сестру Нину был влюблен литовец. Ну тогда разве это можно было? За мной больше всех ухаживали. А у нас сосед был Козловский... Когда все взрослые пойдут на сенокос, он открывал каким-то образом нашу форточку, брал кнут, его в коровьем помете пачкал и меня доставал каким-то образом этим кнутом через форточку. Вот такие формы ухаживания, еще на велосипеде прокатить, за косички дергать. Еще игра была догонялки: «Раз, два, три, последняя пара, гори». Бегут и кто-то должен поймать, всегда ловили меня.

В общей среде я не поддавалась, что называется, в любом плане. Я и в самодеятельности участвовала. В шестом классе мы играли «Свадьбу с приданым»... Для спектакля все из дома таскала, то скатерть, то еще чего. В деревенском масштабе я была как настоящая артистка. Как концерт в совхозе, я выступала и Майя. Она читала стихи Льва Ошанина:

А мать, откинув седые пряди
С высокого умного русского лба,
В глаза мои взглядом суровым глядя,
Говорит мне — я знаю, что там борьба,
Мне больно за мирных людей Вьетнама
И горе моих корейских детей,
Слезинкой каждою в сердце прямо
Стучит в тишине бессонных ночей.

При словах «откинув седые пряди с высокого русского умного лба» Майя делала такое движение, как будто откидывает прядь со лба. Но в зале не смеялись, все слушали на полном серьезе.

Из праздников отмечали Новый год, 7 Ноября, 1 Мая. Из калмыцких праздников я только *Цаган-сар* помню — по особым *борцигам*⁹. Бур-

⁹ Жареные изделия из теста.

ханов¹⁰ у нас не было, мы были безбожники. Сейчас мы начинаем подражать. А раньше не было у нас ничего такого. Особенно мне запомнились выборы. Это ж праздник. Вот как на картинах художников: все разодетые, с гармошкой. Вы, вероятно, не на того человека напали, потому что у меня своя Сибирь, хорошая Сибирь. Я поняла, что люди там хорошие, климат замечательный. Мы не мерзли, мерзлую картошку не ели. Сейчас многие примазываются, что мерзлую картошку ели, очистки собирали.

Да, падаль ели, но и в Ленинграде блокадном ели... Зимой в Сибири мясо долго не портится. А скотина иногда умирала не от инфекции, а от голода или мороза. Падаль стыдно было кушать. Деда, про которого было известно, что он падаль ел, прозвали *Махан* (Мясо).

Калмыки сами иногда давали повод, чтобы к ним так относиться. Я помню, бабка одна в бараке полы мыла из кружки. Рукой обрызгает и подметает. Это она никогда на деревянном полу не жила. А нас мама всегда заставляла *ус гуульгуляд угадцхатн* (мойте так, чтобы вода бежала). Или делайте хорошо, или не делайте.

Многие работали доярками, это же в 4 утра вставать. Они коров подоят, приходят и все. Огорода они рядом не держали, гусей не держали. Гусей можно было и без корма держать. Они все лето щипают траву, ходят на речку купаться. Потом осенью их всех режут, прекрасное мясо на зиму. Так мы жили. Мама их порубит, мы их общиплем, повесим и потом варили борщ. Кто им [другим людям] не давал? Сами не хотели, не умели.

Мы чай плиточный не вывезли, у нас его не было. Чай калмыцкий варили из белоголовника, есть такая трава, очень душистая и, оказывается, вообще очень полезная. Мы собирали и варили чай. Мама еще собирала смородину, делала из нее лепешки, и мы зимой варили кисель. Сахара-то не было, чтобы варенье варить. А клубнику мы ели в сезон. По мне же телега проехала в детстве. Все это мое «прокатиться да прокатиться». Я попала под телегу. Слава богу, обошлось, это ж детский возраст — само исправилось. И папа в носовом платочке приносил мне клубнику. Для витаминов что ли. Папа был внимательный и жалостливый ко всем. Он в нашу большую женскую семью взял двух мальчиков-фэзэушников жить у нас. И папе никто не возражал. Ребята росли вместе с нами, ели что у нас было.

Люду мама родила в 36 лет. Беременность у мамы была поздняя, она ее стеснялась и скрывала. Даже от брата мама скрывала свой живот. Такая калмыцкая целомудренность. Мама Люду рожала три дня. 1947 год был страшно трудный материально. Когда мама родила, она, бедная, вся опухла. Когда сил нет, все опухает. И сибирские женщины — все опять принесли. Кто — топленое масло, кто — мед, кто — молоко для

¹⁰ Здесь — изображения божеств.

роженицы. Роды проходили дома. Продали последний кусочек розового шелка на блузку, чтобы купить маме кусок масла.

Сестра младшая, Люда, была болезненная, и когда все уходило там на сенокос или на сезонные работы, мне ее оставляли — смотреть за ней. Я так любила играть в лапту: убегу, посажу ее на землю. Она сидит, и кто там простудится или нет — тогда не думали. Как могли, так и смотрели.

А мальчишка наш все-таки умер. Мы так над ним тряслись. А заболел менингитом, умер в Назарово. Когда он родился, папа сказал: «Если бы знал, что у меня родится сын, я бы давно уже сам уехал в Сибирь». Он так хотел сына, а были только дочки. Мама лежала с ним в больнице, в какой-то страшной обшарпанной палате, наедине с умирающим ребенком. Когда он умер, ей сказали: «Уходите». Она пошла, не зная куда. И вновь ей помогли хорошие люди. Встретилась землячка В. Г. Дорджина, пригласила домой и помогла отогреться сердцем.

В Назарово было принято, что, если мужики в компании собрались, все жены прибежали за своими мужьями и разбирали: это мой, это мой. А мама никогда не ходила, и папа обижался, что из компании он должен был возвращаться сам. Там пили редко, если пили, то самогон. Это было в русской компании, а я не помню, чтобы калмыцкой компанией собирались. Калмыки были, но приходили по делу, чем-то им помочь, написать. А маме некогда было ни с кем дружить — ни с русскими, ни с калмыками. Она все время в работе.

Родители причин выселения не обсуждали. А другие почему на нас, как сейчас говорят, не возникали? Потому что мы во всем их превосходили — и в одежде, и в учебе, и в поведении. Все местные ходили в платках, а мама нам капор сошьет. В школе всегда будут любить отличников, всегда будут их уважать. Нас трое сестер — Нина, Майя и я, — были все хорошистки из одной семьи. Это имеет значение.

Нас не приучили обсуждать что-либо. Нам все время говорили в Сибири: держите язык за зубами. Какой такой информацией ребенок располагал?

Моя закадычная подружка Тамарка Иванова плохо училась и плохо себя вела. Ее всегда ругали. Говорили: Иванова сбивает Кокшунову. Ничего она меня не сбивала. Мы обе баловались, но она к тому еще и плохо училась.

Мама нас специально ничему не учила. Отец скорее нас учил, а не мама. На свою маленькую зарплату — 50 рублей всего, и больше никто в семье не работал — он купил патефон. Единственный в совхозе патефон был у нас. У нас были две пластинки: вальс «На сопках Маньчжурии» и фокстрот «Фонарики». Он заставлял нас с Майей танцевать. Он хотел, чтобы девочки умели танцевать, чтобы мы на танцах не стояли.

На праздники мама ничего такого особенного не готовила. Она делала борщи, чай. А вообще мы жили очень просто, бедно, скудно,

все было рассчитано, все рационально использовалось. Так не бывало, что сегодня много, а завтра нет. Мама много капусты солила, в бочке капуста промерзала, и такие серебряные снежинки были. В чашке принесешь, а потом капуста оттаяет, и мама варила борщ. Пышки, лепешки — самое то, что можно было. Когда корова телилась, то ценился уурз (молозиво) всем детям по чуть-чуть. Разделения не было. У нас такого, как у Ивановых, — отец первым ел — не было.

Майя в детстве любила петь, у нее голос был очень хороший. Мама ругала, била, не любила всякие песенки. Она говорила: «*Чи донгдад улдхич*» («Останешься одна куковать»). Мама пугала ее, чтобы она не пела. Она боялась горя, что на глазах чужих людей, что вдруг кто позавидует. А мне мама уже прощала, она уже знала, что меня ничем не исправишь. Помните, раньше в школе было принято делать пирамиды. Я всегда внизу делала мостик. Я мостик даже после института делала, когда уже сына родила.

О реабилитации я узнала уже в Киргизии. Когда послабление шло, мамина старшая сестра поехала в Киргизию. Я жила в Таласе, я поступила в медицинское училище после 8-го класса. Я участвовала в самодеятельности.

Возвращаться... Нина уже замуж вышла в Сибири. Папа, мама и Люда уже жили в Моторском леспромхозе. Папе правительственная телеграмма пришла, что он приглашается в оргкомитет по сбору калмыков на родину. Он отвечал за Красноярский край. Наш дом посещался денно и ночью. Люди приходили узнать, правда ли, что едем на родину. В Красноярске папа зашел к актрисе Улан Барбаевне Лиджиевой. Она пользовалась коляской, ноги у нее были опухшие. Узнав о новости, она спела, и отец, он был чувствительный, заплакал. Благословляя ее песню, обернул стакан, который держал, сторублевкой. Она позже рассказывала, что на эти деньги купила три метра штапеля. Папа ее очень уважал. А когда в Сибирь ехали, они в одном вагоне ехали. Даже там, в вагоне, мама была приспособленнее других, у нее был чайник. Она кипятила воду на буржуйке, всем раздавала. Другие и этого не могли сделать, все ждали, когда принесут еду.

То, что дала нам всем мама, так ненавязчиво, столько девочек вырастить хорошими хозяйками, нежными матерями. Мама частенько вспоминала, как я в Сибири вспоминала кошку свою, которая не хотела кушать кашу с молоком: я бы съела сейчас. Я никогда не просила добавки, но мама поминала, как я на нее смотрела, чтобы получить еще стакан молока.

Старшее поколение, когда вернулось, они землю ели... [*плачет*]. Я не знаю, когда еще такой порыв большой возможен. Родители вернулись в 1957 г. Папу сразу назначили первым секретарем райкома партии. Меня встретила машина в Абганерово. Элиста мне показалась ужасной. Нельзя ж такое говорить. Такая разруха. Жить негде. Кушать нечего. Мы

перебивались как могли. Ничего нельзя было купить. У Майи началась рвота просто водой. Мама зарубила курицу и сделала бульон...

Людей столько возвратилось, где их размещать? И такой моральный подъем — это же ни в одном фильме не покажешь. Папа даже помолодел — такое испытать! Люди во дворах жили, в сараях. Каждой семье по комнате. И на Песках в бараках жили, и Валя Горяева, и Эмба Манджиев¹¹, такие молодые, такие талантливые и такие счастливые, что вернулись на родину.

КОММЕНТАРИИ

В интервью Р. А. поражает фраза — *о родителях отца ничего не знаю*¹². Удивительный пробел в отношении близких родственников: отец и его три сестры ничего не рассказывали собственным детям о своих родителях. Для этого намеренного замалчивания должны были быть веские причины. Скорее всего, дед девочки относился к калмыцкой аристократии или зажиточным слоям, такая родословная «противоречила» партийной карьере отца, и поэтому старшие молчали и не рассказывали детям.

Отец Р. А. происходил из ики-дербетов, большой этнотерриториальной группы, проживавшей преимущественно в Западном улусе Калмыцкой автономии. Мать Р. А. — оренбургская калмычка — относилась к небольшой этнотерриториальной группе калмыков, которые проживали на Урале и были более русифицированными, чем другие. В рассказе Р. А. ее русское имя и русское имя брата (Николай) названы первыми, как бы основными, а вторыми названы калмыцкие — Аганя и Улюмджи. Их уверенное знание русского языка (*без калмыцкого акцента*) было показателем включенности в русскую культуру. У ее тети и дяди со стороны матери тоже русские имена — Мария, Василий. Однако после переселения всех оренбургских калмыков в Западный улус Калмыцкой АССР первого ребенка называют по-калмыцки (Данара), второму дают русское имя без второго калмыцкого, третий сын назван в честь любимца страны Валерия Чкалова. Личные имена как культурные маркеры гибко реагируют на изменение этносоциальной ситуации: на Урале были двойные имена, а в Калмыкии они не нужны.

Все пять сестер в семье К. С. получили русские имена: Лиза, Нина, Люда, Клара и Майя. Причем последние два имени связаны с коммунистической идеологией. Калмыцких имен у девочек не было. Переселенцы, имевшие только калмыцкие имена, должны были в Сибири привыкать к новым русским именам, которыми их называли местные, девочки в семье К. С. этих трудностей не знали.

¹¹ Выдающиеся калмыцкие артисты — певица Валентина Горяева и танцор Эмба Манджиев.

¹² В комментариях все цитаты из анализируемых нарративов Р. А. и К. С. даны курсивом без кавычек.

Р. А. упоминает редкий обычай давать детям прозвища, связанные с особыми историческими обстоятельствами. Так, сына, родившегося 21 июня 1941 г., отец стал называть *мальчик, принесший войну*. Один из авторов настоящей статьи была знакома с женщиной по имени *Хаалга* (то есть букв. ‘дорога’), родившейся в поезде по дороге в Сибирь зимой 1943–1944 гг. Известного в республике джангарчи В. Каруева, родившегося по пути на родину в 1957 г., назвали *Цаган Хаалг* (‘счастливый путь’).

Я радовалась, что едем кататься — такой же детский восторг перед новым опытом встречался и в других воспоминаниях калмыков этого поколения. Так же реагировали и интернированные вместе с родителями в 1942 г. дети американцев японского происхождения, воспринявшие депортацию как восхитительное приключение (Takezawa 1995: 84). В этой фразе мы слышим настроение пятилетней девочки, а в следующей фразе (*молодые красноармейцы, ребята подсказывали, что взять*) узнаем ее голос уже из нашего времени: взрослый человек благодарит тех парней, которые помогли хорошими советами. Такая двойная темпоральность — характерное качество воспоминаний об этом особом периоде: детали запомнил еще ребенок, а оценки даются уже опытным человеком.

Долгое грудное вскармливание как способ поддержать ребенка, особенно долгожданного мальчика, родившегося после двух сестер, описан Р. А. Грудное вскармливание до 3-х лет встречается во многих доиндустриальных культурах. В такой экстремальной ситуации, как выселение, грудное молоко было не просто способом вскармливания, протяженного из-за нехватки продуктов. Это был ежедневный подвиг матери, которая отдавала свои жизненные силы и кормила сына.

Репрессирующая повседневность школьной жизни воспринималась Р. А. как норма, хотя, как она вспоминает, *мальчишки дразнили: калмык, калмычка*. Для Раи это нормальное отношение, возможно, потому, что их с сестрой без вопросов приняли в октябрята, а затем в пионеры и комсомол и, видимо, дразнили только в первое время. Не забылись те дразнилки, но, видимо, они все же не были жестким абюзом.

В нарративе Р. А. мы видим одну из «тактик слабых» для успешной интеграции в местном сообществе — сверхусердие. У каждой из сестер был свой любимый школьный предмет (математика — у старшей, немецкий язык — у младшей), но важными были успехи именно в русском языке, поскольку они были показателем общей грамотности и вовлеченности в советскую культуру.

В нарративе Р. А. отражается и процесс ограничения этнически окрашенных элементов культуры приватными семейными рамками. Календарные праздники, обычно отмечавшиеся большим родственным коллективом, были сокращены до границ семьи, хотя все-таки отмечались. *Калмыцкие праздники как-то отмечали тайно. Не так весело, не так открыто, как 7 Ноября. Я не помню, чтобы это преследовалось, но все*

равно. По рассказу Р. А., позже, когда праздники стали отмечать с земляками и исполнять во время празднования калмыцкие песни, это не осталось незамеченным в селе: местные мальчишки высоко оценили песню на чужом языке.

В семье номенклатурного работника калмыцкие праздники особо не отмечали, К. С. помнит борциги на Цаган-сар, в ее памяти праздником остались выборы. Так было у многих детей «поколения 1,5», потому что участие калмыков в выборах как в акции государственного значения возвращало их на день в семью советских народов, в этот день они чувствовали себя равными с другими. Дети запомнили праздничную атмосферу, приодетые взрослые оставили в их памяти ощущение подлинного праздника.

Оба интервью показывают, что язык, которым можно говорить о статусе спецпереселенцев и его изменениях, еще не сложился. Рассказчицы пытаются сами подбирать нужные слова. Так, Р. А. произносит фразу: *когда было освобождение*. Под ним она понимает процесс снятия калмыков с учета в комендатуре. К. С. называет снятие ограничений послаблением, а образование Калмыцкой автономии в 1957 г. — реабилитацией. Р. А. упоминает, как в 1955 г. были сняты ограничения с калмыков-коммунистов и членов их семей (Ссылка калмыков 1993: 234) и, хотя высылали всех калмыков независимо от членства в партии, ограничения стали снимать вначале с коммунистов.

Проявляется и проблема в определении границ группы, ведь калмыки были для местных жителей расиализированными иными. Может быть, поэтому Р. А. в описании внешности калмыков так часто упоминает, что кто-то из них был *симпатичный*. Удивительны мысли Р. А. о том, что калмыки не могут иметь детей. Видимо, это вызвано немногочисленностью калмыцких семей в Красноярке (менее 20), к тому же это были неполные семьи — матери с детьми. Вернувшиеся с фронта мужчины не были здоровы, и понадобилось время, чтобы в 1950-е годы появился первый новорожденный: *я поняла, что калмыки тоже могут иметь детей*.

Р. А. говорит: *отец поехал в теплые страны, в Киргизию... Там жили люди, похожие на нас*. Она отмечает следующие достоинства нового места жительства: климатический фактор — теплые края, в которых жизнь была легче, и социальный — местные жители внешне были похожи на калмыков, так что внешность переставала быть фенотипической границей между калмыками и всеми остальными.

Кстати, калмыцких номеров не было в школьной художественной самодеятельности, и даже звезды местного масштаба вроде К. С. играли в спектаклях, читали стихи, но ничего калмыцкого в их выступлениях не было.

Из обоих рассказов становится понятно, сколько домашней работы на селе было в то время. В каждом интервью рассказывается также о гендерном и половозрастном порядке в семьях рассказчиц: муж работает,

распоряжается бюджетом, на жене все домашнее хозяйство, включая стирку и глажку, приготовление еды на 7, а то и 9 человек; кроме того, она смотрит за скотиной и домашней птицей, мать одной из рассказчиц держит пасеку, а еще и подрабатывает, обшивая местных жителей. Уборка и отопление дома, посадка и прополка картофеля — дела всей семьи. В каждом нарративе есть педагогическая составляющая, однако в рассказе К. С. этих сюжетов особенно много. К. С. рассуждает о стратегиях рачительного ведения домашнего хозяйства многодетной семьи: *так не бывало, что сегодня много, а завтра — нет*. Мы видим постоянный труд матери, ее готовность осваивать новые хозяйственные навыки, при этом патриархатный порядок отражается в желании жены быть, как говорит рассказчица, *второй скрипкой* при муже.

Травматическая память, особенно женская, тесно связана с телесностью. Женщины помнят свою праздничную одежду, праздничную и повседневную еду, а также обморожения и болезни.

За рамками интервью осталась история о том, как семья Р. А. получила извещение о пропавшем без вести брате рассказчицы Николае, упоминается, впрочем, что подтвердить доброе имя погибшего лейтенанта помогла статья И. Эренбурга уже в 1960-х годах.

Обе рассказчицы столкнулись с конформативными акциями государства по отношению к представителям репрессированного народа. К. С. поступила в калмыцкую студию, куда набирали молодых людей, чтобы растить кадры для драматического театра. Р. А. помнит о льготных стипендиях: *у меня и тройки были, но мне, как калмычке, все равно давали стипендию*.

Дети «поколения 1,5» плохо помнили Калмыкию, скорее они помнили свой дом: дом не выходил из головы. Приехав в Калмыкию, они увидели, что *все пусто, как в деревне*. Впрочем, этническая идентичность заставляет делать оговорки: *Элиста мне показалась ужасной. Нельзя же такое говорить*. То, что в конце 1950-х город рассказчице не понравился, смущает ее, ведь она чувствует, что символическое значение Элисты в сакральной географии калмыков, быть может, важнее ее тогдашних реальных ощущений.

Р. А. прямо говорит: *особых трудностей я не помню*. Между прочим, обе рассказчицы вопреки распространенной для репрессированных практике не ходили ежемесячно отмечаться в комендатуру. К. С., интервью с которой состоялось, когда свежи были в памяти многочисленные публикации, отражавшие «вторую десталинизацию» и запрос на дискредитацию КПСС (Эппле 2020: 33, 38), а следовательно, виктимизацию репрессированных групп, произносит: *Вы, вероятно, не на того человека напали, потому что у меня своя... хорошая Сибирь*. Собеседница полагала, что *хорошая Сибирь* не встраивается в распространенный медиаформат.

Встреча Р. А. с волком, описанная в ее рассказе, становится аллегорией самой депортации. Как девочка, не опознав волка, не успела испугаться хищного зверя, так и депортация для нее, младшей дочери

(и сестры) в дружной семье, не осталась в памяти угрожавшим жизни периодом. Р. А. заканчивает свой рассказ, рассуждая о традиционных ценностях, продолжении рода. У К. С. иная концовка, она говорит, что в бараках жили и знаменитые Валя Горяева и Эмба Манджиев — *такие счастливые, что вернулись на родину*. Здесь молодые артисты символизируют всю калмыцкую культуру, которая, как указывает рассказчица, и в бараках прозябала, но на родине непременно расцветет.

Оба текста — примеры позитивного нарратива (по Дж. Александру). Рассказчицы практически не помнят серьезных трудностей, принимая судьбу и вспоминая *хорошую Сибирь*. Необходимо отметить, что эта особенность вообще характерна для представителей «поколения 1,5»: несмотря на личный депортационный опыт, они производят, как правило, позитивные нарративы. В приведенных текстах семейная история отражена через те общие «травма-пункты» депортации, которые стали обязательными для всех калмыцких нарративов: изгнание из дома, дорога в Сибирь, расселение в избах сибиряков и отношения с соседями, снятие с калмыков ограничений, введенных для спецпереселенцев, и предоставление конфирмативных льгот. Мы находим здесь и другие сюжеты, характерные для «поколения 1, 5»: школьная социализация, учителя и оценки, детские забавы и обязанности, первая дружба. Перед нами предстали повседневные практики сибирской деревни того времени и чувства, которые испытывали советские люди, — тревоги войны, радость Победы, скорбь о смерти Сталина. Устные спонтанные нарративы дают возможность вслед за Й. Фабианом посмотреть на «этнографию как комментарий», предоставляя исследователям богатый материал.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Александр Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М.: Праксис, 2013. 639 с.

Дубина В. Биография // Всё в прошлом: Теория и практика публичной истории / Под ред. А. Завадского, В. Дубиной. М.: Новое изд-во, 2021. С. 83–98.

Калугин Д. Проза жизни: Русские биографии в XVIII–XIX вв. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2015. 260 с.

Ссылка калмыков: как это было. Сборник документов и материалов. Т. I. Кн. 1. Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1993. 262 с.

Эренбург И. Россия! // Пионерская правда. 02.12.1942.

Эппле Н. Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: Новое лит. обозрение, 2020. 576 с.

Fabian J. Ethnography as commentary: writing from the virtual Archive. Durham: Duke University Press, 2008. 139 p.

Rumbat R. G. Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States // International Migration Review, Vol. 38,

No. 3, Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration (Fall, 2004), pp. 1160–1205. Published by: The Center for Migration Studies of New York, Inc.

Takezawa Y. *Breaking the Silence: Redress and Japanese American Ethnicity*. Cornell University Press, 1995. 248 p.

REFERENCES

Aleksander J. *Smysly sotsial'noy zhizni: kul'tursotsiologiya* [Meaning of social life: cultural sociology]. Moscow: Praksis Publ, 2013. (In Russian).

Dubina V. [Biography]. *Vso v proshlom: Teoriya i praktika publichnoy istorii* [Everything in the Past: Theory and Practice of Public History] Moscow: Novoye izdatel'stvo Publ., 2021, pp. 83–98. (In Russian).

Epple N. *Neudobnoye proshloye. Pamyat' o gosudarstvennykh prestupleniyakh v Rossii i drugikh stranakh* [An Inconvenient Past. Memory of state crimes in Russia and other countries] Moskva: Novoe literaturnoye obozreniye. 2020. (In Russian).

Erenburg I. Rossiya! [Russia!]. *Pionerskaya Pravda* [Pioneer Truth], 1942, no. 2, 12. (In Russian).

Fabian, Johannes. *Ethnography as commentary: writing from the virtual Archive*. Duke University Press, 2008. (In English).

Kalugin D. *Proza zhizni: Russkiye biografii v 18–19 vv.* [Prose of life: Russian biographies in the 18–19 centuries] St. Petersburg.: Izdatel'stvo EU, St. Petersburg Publ., 2015. (In Russian).

Rumbaut Rubén G. Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States. Source: *International Migration Review*, Vol. 38, No. 3, *Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration* (Fall, 2004), pp. 1160–1205. Published by: The Center for Migration Studies of New York, Inc. (In English).

Ssylka kalmykov: kak eto bylo. Sbornik dokumentov i materialov [Kalmyk exile: how it happened. Collection of documents and materials]. Vol. I, Bk. 1. Elista: Kalmytskoye knizhnoye izdatel'stvo Publ., 1993. (In Russian).

Takezawa, Yasuko. *Breaking the Silence: Redress and Japanese American Ethnicity*. Cornell University Press, 1995. (In English).

Submitted: 11.01.2022.

Accepted: 26.02.2022

Article published: 01.07.2022